



**Библиотека  
военных  
приключений**



Юрий ПОГРЕБОВ  
Евгений ПОГРЕБОВ

---

# ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН



МОСКВА  
2016



УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
П43

*Художник Игорь Варавин*

**Погребов, Юрий Сергеевич.**  
П43 Штрафной батальон / Юрий Погребов, Евгений Погребов. — Москва : Яуза : Эксмо, 2016. — 352 с. — (Библиотека военных приключений).

ISBN 978-5-699-89056-9

Март 1943 года. В разгар второго Харьковского сражения штрафной батальон спешно перебрасывается на передовую. В одном строю — проштрафившиеся фронтовики и матери уголовники, работяги-«кулачники», осужденные за прогулы и опоздания, и проворовавшие интенданты, спекулянты и дезертиры. Все они должны «смыть свою вину кровью». Немногие из них переживут этот бой...

Роман написан на основе реальных событий, участником которых был автор, Юрий Сергеевич Погребов, сам воевавший в штрафбате.

**УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-699-89056-9

© Погребов Е.Ю., 2016  
© ООО «Издательство «Яуза», 2016  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2016

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

---

## Глава первая

**Н**а станцию прибыли глубокой ночью. До утра вагон простоял в тупике. Сквозь вспугнутый, настороженный сон до Павла доносились звуки незатихающего движения на главных путях. Попыхивая, взад-вперед неумоимо сновал юркий маневровый паровозик, в темноте раздавались невнятные возгласы, резкие свистки и лязганье буферов. Станция, очевидно, принимала и пропускала немалый грузопоток.

Словно из далекого забытья долетел до Павла и скрежет отодвигаемой тяжелой двери.

— Выходи-и!

Высыпав из вагона шумной гурьбой, люди зябко ежились спросонья на колком утреннем ветерке, суетливо охлопывали себя по карманам, торопились извлечь на свет кисеты с махоркой. Глотнув наспех две-три короткие нетерпеливые затяжки, становились в строй.

Отыскав глазами Николая Махтурова, Павел приветственно кивнул ему головой, привычно встал рядом. Следом, застегивая на ходу шинели, подошли Станислав Шведов и Андрей Кусков.

— Кажись, приехали, братва? А? — преувеличенно бодро поинтересовался Шведов, возбужденно вертя головой и осматриваясь вокруг с той, в данном случае деланой и неестественной, душевной приподнятостью, которая в пору лишь при свидании с давно покинутым отчим краем.

Едва ли при этом он рассчитывал всерьез заинтересовать кого-то своим сообщением, скорее всего сказал без всякого умысла, из товарищеского участия к Махтурову и

Колычеву, чтобы высказать свое доброе к ним расположение или завязать разговор. Но вышло вопреки намерениям.

Махтуров, правда, холодно покосился в его сторону, но промолчал, хотя относился нетерпимо ко всякого рода проявлениям фальши, легковесности и позерства и ему стоило немало усилий переносить их без возражений. А пренебрежительно-беспечный, мало озабоченный постигшей его участью Шведов, который, казалось, не только не тяготился своей виной, как другие, не только не омрачался ею и не раскаивался, но, напротив, всячески бравировал и выставлял напоказ свое разудалое, бесшабашно-наплевательское безразличие ко всему, что касалось ближайшего будущего, вообще вызывал у него неприязненное чувство.

— Скажи уж лучше — докатились! — с ироничной усмешкой отозвался Павел. В отличие от Махтурова у него не было столь категоричной уверенности в том, что выпячиваемое молодечество, подчеркнутое небрежение своей дальнейшей судьбой — не мнимая, а действительная сущность характера Шведова, не шутовская маска, надетая им в расчете на броское внешнее впечатление, а истинное его лицо. Павел знал по себе, как придавливает, обезволивает человека на первых порах тюремная камера, как, попав в ее затхлую, мертвящую атмосферу, многие надолго перестают быть самими собой и либо отгораживаются от окружающих непроницаемой стеной замкнутости, либо рядятся в несвойственные защитные одежды из наносной грубости, показного удалства и разухабистости. Так или иначе приноравливаются к любому обличью, лишь бы не обнаружить, уберечь от жестокого и унижительного попраania свое настоящее, потайное. И потому не спешил выносить окончательное суждение о Шведове.

— А хотя бы и так! — беззаботно согласился Шведов. — Что с того? Все равно лучше, чем в тюремной камере клопов кормить да вонь парашную нюхать. Андрюха, подтверди!

Кусков с шутовской готовностью кивнул головой.

— Только и всего? Не маловато ли?

— Скучный ты человек, Колычев, занудный. А все знаешь почему? Не умеешь ты жизни радоваться, не ценишь. Честное слово. В армию ведь снова идем, на волю! Чего же тебе еще надо? Знаешь, как Горький говорил: жизнь — она красавица, ее любить надо. Вся штука в том и состоит, чтобы уметь ежедневно находить что-нибудь для радости и радоваться, радоваться! Понял, чудака, чему умные люди учат?

— Ты бы Горького-то хоть постеснялся трогать. Мужик он, конечно, авторитетный, зря не скажет, тут спору нет. Только не слишком ли вольно, молодой человек, вы его толкуете? Может, и был звон, да там ли он?

— А ты не сомневайся! Я ведь до танкового училища год в университете на филологическом проучился.

— Это дела не меняет. Все равно. Думаю, если что подобное Горький и утверждал, то, вероятно, прежде всего имел в виду того человека, о котором писал с большой буквы, а не такого ловца мимолетной радости, как ты. Из тебя пока что не только человека путного, но, как видно, и танкиста сколько-нибудь стоящего не получилось.

— Ну, насчет танкиста — это ты, положим, зря: не хуже других я в бой ходил. А что касается всего остального прочего, то это мы тоже — будем поглядеть, кто больше человек!

— Отставить разговорчики!

Начальник конвоя, немолодой младший лейтенант в белом овчинном полубубке и с автоматом на груди, дважды просеменил вдоль ломаной шеренги, просчитывая людей, и, убедившись, что все в полном порядке, подал отрывистую команду:

— Справа по четыре! Вперед — марш!

Колонна тронулась. «А он с замочком, да, пожалуй, не с простым, этот бахвалистый лейтенант!» — заключил про себя Павел, возвращаясь мыслями к разговору со Шведовым.

Обогнув пристанционный поселок окраиной, колонна, сопровождаемая конвоем, вытянулась на лесной проселок, уводивший к военным лагерям, где наряду с други-

ми частями и специальными подразделениями формировался штрафной батальон, на пополнение которого и направлялась очередная партия досрочно освобожденных из мест заключения.

Кого только не свела своенравная судьба в эту пеструю, разношерстную компанию! Здесь были люди самых разных возрастов, социальной принадлежности и воззрений. Основную группу составляли бывшие военнослужащие, совершившие тяжкие проступки, разжалованные, лишенные наград и приговоренные судом военного трибунала к искуплению вины в штрафном батальоне. Их сразу можно было распознать по остаткам военного обмундирования и по тем едва уловимым, но безошибочным признакам, которые неизбежно присутствуют в каждом, кто прошел через фронт, был обстрелян, терт и прохвачен передовой, хватнув по ноздри всего, чем она пахнет.

Другую часть представляли гражданские лица, преимущественно рабочие и колхозники, осужденные за прогулы, опоздания на работу, воровство и другие преступления, за которые в условиях военного времени полагалась суровая кара.

Всем этим оступившимся людям Указ Президиума Верховного Совета СССР предоставлял возможность, став солдатом штрафного батальона, смыть свой позор кровью и, проявив мужество и героизм при защите Родины, вновь обрести честное имя.

Была среди общей массы и третья, самая малочисленная, но особая категория лиц — отпетые уголовники, воры-рецидивисты. Давно вжившиеся в лагерный быт, они привыкли, действуя скопом, угрозами, хитростью, а то и грубой силой, добиваться для себя лучших условий, поэтому выделялись более справной одеждой и упитанностью, в особенности воровская элита. Почти у каждого за плечами горбился до отказа набитый «сидор».

Наглые, бессмысленно жестокие, способные на любую подлость и гадость, уголовники обычно верховодили в тюремных камерах, терроризировали остальных заключенных, вызывая всеобщую ненависть и отвращение. Но

теперь, попав в новую обстановку, заведомо нежелательную и неподходящую, они выжидательно присмирели, рассредоточились по колонне, стараясь из предусмотрительности не привлечь лишнего внимания к своим особам.

Но метаморфоза, происшедшая с уголовниками, не могла обмануть Павла. Слишком памятными и тягостными были ощущения, вынесенные из общения с ними в заключении, чтобы он мог поверить в возможность скорого примирения. Наоборот, крепла мысль о неизбежности столкновения.

Внутренне готовясь к стычке, Павел исподволь присматривался к уголовникам, особо выделяя из всей компании двоих, занимавших, в его представлении, верхние ступени воровской иерархической лестницы: рецидивиста-домушника Маню Клопа, невзрачного, рано постаревшего человека с испитым, отечным лицом, и вора в законе по кличке Карзубый, рослого, завидно сложенного детину, с ног до головы исколотого непристойными татуировками.

Тот и другой влились в их партию на пересыльном пункте и, судя по повадкам и почтительности, которой придерживались с ними прочие уголовники, были признаны и авторитетны в блатном мире, что само по себе свидетельствовало о воровской искушенности и заматерелости. От них исходила вся пакость, и с ними в первую очередь следовало держаться начеку.

Сейчас потертый полушубок Карзубого мелькал в голове колонны. Рядом семенил на коротких толстых ногах, обутом в добротные американские ботинки, напарник Мани Клопа, низкорослый жилистый вор-карманник по кличке Башкан. Чуть сзади, ближе к Павлу, кутая хилое тело в синюю бекешу, шагал и сам Клоп. Кусок его грязной морщинистой шеи, выглядывавшей из-под нахлобученной кавалерийской кубанки, назойливо маячил перед глазами и будил глухое раздражение.

В самом конце колонны плелись неказистый, щуплый Семерик и длинный, худосочный Гайер — дегенеративный малый со сплюсненной, как дыня, головой, зыркающ-

щими хорчиными глазками и мокрогубым, постоянно жующим ртом. Сбоку, уткнув носы в поднятые воротники, сутулились по-бабьи рыхлый, толстозадый Яффа и очень осторожный, осмотрительный Тихарь, невыгодно для его рода занятий помеченный природой родимым пятном величиной с пятак почти по центру лба.

Продрогнув на встречном ветру, Маня Клоп на ходу скручивает сигарку и, прикрывшись полой бекешки, раскуривает, со вкусом выпуская изо рта густую струю сизого махорочного дыма. Тотчас к нему из-под руки просовывается угодливо-заискивающая физиономия Бори Рыжего — «шестерки» Клопа, тащившего на себе его увесистый «сидор».

— Клоп! Не забудь — сорок! — просительно напоминает он.

Неписаное правило, рожденное солдатской средой и перенятое блатным миром: две трети самокрутки выкуривает владелец табака, а треть — товарищу.

Но соседство Бори Рыжего почему-то не устраивает Клопа.

— Оторвись, гад! Не высвечивай! — ощерив щербатый рот, шипит он.

Борю Рыжего буквально подкидывает и отбрасывает в сторону, будто щенка, поддетого пинком. Трусливо поджавшись, он шарахается прочь и вмиг растворяется за спинами тех, кто шел позади Клопа.

«Шакалы противные! Мразь! — угрюмо размышлял Павел, наблюдая за этой сценой. — С такой сволочью не то что в бой рядом идти — воздухом одним дышать тошно!»

Засунув зябнувшие руки поглубже в карманы, он попробовал перестроиться, уйти от одолевающих невеселых дум, принудив себя для начала тщательней следить за дорогой, поскольку все чаще и чаще стали попадаться на их пути глубокие выбоины, до краев наполненные жидким черным месивом, и можно было ненароком угодить по колено в одну из них. Но старательность, с которой он избегал предательских колдобин, отвлекала мало. Поплутав бесплодно, мысли вновь обретали прежнее, неприят-

ное направление, перебороть настроение, снять с души тяжесть не удавалось.

Пробуждался март 1943 года. Днем раньше проселок обласкало первой по-настоящему весенней оттепелью. Дорога, разбитая и разъезженная с осени, обнажилась, откисла, в колеях заворошились мутные неспешные ручейки. Ночью, правда, почву прихватило морозцем, сковало ледком, но недостаточно. Под хрупкой корочкой была грязь.

С утра тоже было стыло и сумрачно. Затем совсем ненадолго проглянуло обогревающее солнышко, и снова небо подернулось знобкой серой мглой. В довершение ко всему пошел дождь вперемешку со снегом. Проселок размыло вовсе, обувь, особенно брезентовая, напиталась водой, идти стало много трудней.

Солдаты конвоя, шагавшие по обочине, безучастно поглядывали на своих подопечных, не торопили. Старших возрастов, набранные в конвойную команду из госпиталей, они тоже устали, вымокли и были не рады разывшейся непогоде.

Лишь начальник конвоя, останавливаясь время от времени, пропускал мимо себя колонну и совсем не покомандирски, а скорее отечески, больше для порядка, покрикивал, подгоняя отстающих:

— Тянись, ребятушки, тянись! Километров пять осталось, не боле. Аккурат к обеду поспеем.

Но его не очень-то слушали, хотя напоминание об обеде и отдыхе настраивало на определенный лад.

— Червячка заморить — это бы сейчас в самый раз. Кишки уж, наверно, к спине присохли.

— А интересно, наркомовские в штрафном полагаются или как? Не слыхал кто часом?

— Вона! Роток что лапоток, губа не дура!

— Оно конешно. Хоть после такого душа — ох и хорошо пошла бы, родимая. Ядре-она корень!

— А к тому стопарю неплохо б щей покислей да... потесней! — порхнул чей-то тонкий вздрагивающий голосок.

Признав в его обладателе самого молодого из всех —

девятнадцатилетнего солдата Туманова, именуемого между собой попросту Витькой или Витьком, Павел против воли усмехнулся.

— Чего, чего? — словно опасаясь, что ослышался, переспросил Шведов. — Это что за немощ там объявилась? Ты, что ли, валенок вологодский?

— А че? — на полном серьезе возразил Витька. — Запросто могут и бабы быть, лагерь-то, сказывают, большой.

— Ну и фат! Потеха, да и только! — насмешливо взглянул на него Шведов. — Да ты хоть представляешь, с чем их едят?

— Кого? Щи или баб? — простодушно уточнил Витька.

Тумановская простота привела Шведова в восторг.

— Нет, вы только поглядите на этого хлыща — он еще спрашивает! Кого? — теперь уже откровенно издеваясь, передразнил он. — Эх ты, лапоть! Небось только и мог, что кругами вокруг них ходить да сопли пускать?! А туда же!

Туманов посчитал себя нешуточно оскорбленным.

— Ну ладно, ты! Ушлый какой отыскался! Думаешь, залетел бы я в штрафной, если б не энти бабы? Была у меня одна. За нее и погорел...

— А-а! — Шведов подломился в дурашливо-повинном поклоне. — Тадыть просим нас сердечно извинить за темноту и серость нашу. Ты уж, Витек, будь другом, не обижайся. Сразу-то и не разглядели, что за хрен такой. Но зато в штрафном — точняк, как только узнают, что ты к ним прибыл, моментально осеменительный пункт открывают...

— Гы-гы-гы! — понеслось отовсюду.

Даже сдержанный, скупой на улыбку Махтуров и тот просветлел.

— А иди ты! Трепач! — задыхаясь от обиды, бросил в Шведова ненавидящий взгляд Туманов и, уязвленный посыпавшимися насмешками, прибавил шаг.

...К исходу третьего часа пути колонна сильно растянулась. Дрожа от холода в мокрой одежде, люди понуро тащились по раскисшему проселку.

— Эге-гей, хмыри подколодные! Чего грабелки пообвесили? Держи уши топориком, хвост пистолетом!..

Сбив ушанку на затылок, долговязый белобрысый солдат заложил два пальца в рот и пронзительно, заливчато присвистнул:

— Привыкли паек задарма жрать, шушера этапная! Давай, давай шевелись, мазурики! Не все только нам горб надрывать, пора и вас, голубчиков, припрячь. А лесочка тут на всех хватит!

Шагавший с краю задиристый, заносчивый цыган Данила Салов, никому не прощавший обидного выпада в свой адрес, казалось, обрадовался случаю лишний раз позубоскалить:

— А и харя ты обезьяня! — с присущим акцентом и нарочитой медлительностью начал он, обратясь к обидчику с видом человека, знающего себе цену и не чуждого покрутиться. — Да и чтоб грыжу тебе бесплатную зарабатывать, и чтоб сыну твоему она потом досталась, да и с горбом в довесок!..

— Возьми себе, огрызок! Дарю взаимно!

— Ну ты, оглобля усохшая! Закрой хайло — кишки простудишь!

— Сам ты жертва аборта! — не унимался белобрысый, скалясь и похохатывая, шутя парируя все наскоки цыгана.

— У-у! — Взбеленясь от невозможности сокрушить, повергнуть противника, Салов яростно потряс вскинутым кулачищем.

Встреченная разухабистым посвистом и насмешливо-оскорбительным гоготом солдат, валивших строевой лес в приобочинных участках соснового бора, колонна штрафников, сопровождаемая их непрекращающимися озорными шуточками и выкриками, медленно приближалась к посту контрольно-пропускного пункта.

— Вот фрей клятый! Обрадовался, что его заместо коня в упряжку вперли! — болезненно переживая свое посрамление и как бы оправдываясь, вслух ворчал цыган. —

Просил бы у начальника еще и овса к обеду, чтобы ржал получше да ишачил покрепче...

— Что, мора, уели тебя? — злорадно поддел его Кусков. — Небось щи цыганские только до поту жрать умеешь? Погоди, друг ситный, вот доберемся до фронта, так там ты безо всяких понуканий за двоих меринов пахать начнешь, особо если окопы под огнем рыть придется. Это тебе не в таборе котлы лудить да кур ворованных щипать...

Кусков, в прошлом солдат воздушно-десантной бригады, побывавший в переделках — левую его щеку от виска до подбородка просекал резкий глубокий шрам, а кожа сплошь была изъедена россыпью крошечных, точечных вкраплений — верных признаков живого знакомства с рванувшей подле миной, — не без оснований считал себя выдавшим виды, умудренным бойцом и потому обращался к Салову тем добродушно-снисходительным — чуть свысока — тоном, который на правах бывалых нередко усваивают фронтовики по отношению к необстрелянным новичкам.

Вряд ли он хотел обидеть цыгана всерьез, но того подначка Кускова неожиданно взъярила. Смуглое лицо Данилы побагровело, исказилось бешенством. Глаза полезли из орбит.

— Вояка ты магаданская! Думаешь, если цыган, то смерти испугается?! Врешь, тля поганая! Да у меня братан с дядей на фронте! Одного уж медалью наградили! Не как ты, около фронта не ошиваются и после госпиталя домой на просушку штанов не бегают! До сих воюют...

— Это я-то около фронта ошивался?! — задохнувшись от наглого чудовищного обвинения, вскричал Кусков, наскაკивая на Салова и зверея. — Запомни, гад, и другим закажи: не домой я бежал, а в часть свою добирался, в другую не захотел. И не штаны сушить, а за медалью, честно заработанной!..

Крайне возбудимый и непоследовательный, легко впадающий из одного неуравновешенного состояния в другое, цыган уже отходчиво улыбался, лукавил:

— Ты, Кусок, как тот Яшка-цыган, что на пересылке ко

мне подходил. Помнишь? Он тоже, почти как ты, на суду оправдывался. Иду, говорит, я, гражданин судья, по перелуку, а он узкий-узкий. И посередине, как назло, та лошадь разлеглась. Злющая-презлющая. Я, говорит, к ней с головы подошел — она кусается. Хотел ее с боков обойти — она брыкается. Тогда я хотел через нее перелезть, а она возьми да и понеси меня. Никак не остановлю. И куда бы занесла чертова кобыла — не знаю. Спасибо товарищ милиционер остановил. Благодарность ему за спасение человека надо объявить...

— Издеваешься, гад! — уловив за вкрадчивой ласковостью слов цыгана все тот же скрытый намек на дезертирство, взревел Кусков и, задрожав всем телом, двинулся на обидчика с кулаками. — Сравнил фронт с кобылячьим воровством и еще ржет как сивый мерин! Ты мне эти свои байки брось, конокрад паршивый, не то... — Разом исчерпав весь запас оскорбительных речений, он силился отыскать другие, более веские и значительные, которыми можно было бы ужалить противника побольнее, но не находил: — Небось полежишь, подлюка, под минами, живо щериться перестанешь, волком взвоешь!.. И если еще хоть раз трепанешь кому, что я от фронта бегал, — держись! Не посмотрю, что бугай бугаем, — враз трупом сделаю! Слово десантника!

Едва ли вспыхнувшая ссора закончилась бы миром, не вмешайся Шведов, оттеснивший Кускова с той грубоватой бесцеремонностью, которая обыкновенно присуща тому из друзей, кто верховодит и убежден в силе своего влияния.

— Брось ты, Андрюха, нашел с кем связываться! — удерживая того за борта шинели, урезонивал он. — Ему же лечиться надо, он больной, а ты внимание обращаешь...

Салов, поглядывая на них сбоку, властно и довольно ухмылялся, чувствуя за собой силу.

Колоритной и во многом для Павла загадочной и непонятной фигурой был этот цыган. Вызывающе дерзкий, бесстрашно-насмешливый, он, с одной стороны, отгалкивал своей несдержанностью, грубостью, уродливыми